

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

Впервые, кажется, я увидел Рейна на даче в Комарове в апреле 1956 года. Это был день рождения моей старшей сестры, на который он приехал вместе с Дмитрием Бобышевым. Гости — а я уже знал, что они поэты — привезли ей в подарок "ортотакса" — красную деревянную собаку с колесиками на животе когда её тянули за веревочку, она шлепала лапами и громко пищала, издавая один и тот же звук, за что, вероятно, и получила это имя. На спине у нее было написано сочиненное Рейном четверостишие:

Таксёру четвертак суя,
Я говорил, таксуя:
Задам же Мире таксу я
И разгону тоску я.

Я привел его потому, что красная спина "ортотакса" совсем недавно выплыла из скучной кучи обесмысленных дачных древностей, и потому что оно говорит кое-что о поэтике "раннего Рейна".

Через несколько лет я стал приходить к Рейнам в их комнату на улице Рубинштейна. К этому времени Рейн пользовался уже большим и совершенно особым поэтическим авторитетом, о котором надо сказать несколько слов.

Наступление того нового "золотого века русской поэзии" который хотела видеть вокруг себя в последние годы Ахматов падает на середину пятидесятых годов, когда безутешная постиги гибели поэтов Муза, долгие годы разговарившая с одной Ахматовой и Пастернаком, снова обернулась к молодым. В Москве самым заметным ее собеседником стал Красовицкий, в Ленинграде, которому по не совсем ясным причинам суждено было на короткое время еще раз оказаться столицей поэзии,

Рейн скоро стал чем-то вроде неофициального мэтра. Влияние именно Рейна на свое поэтическое формирование признавал мало склонный к оммажам Бродский, — младший в содружестве четырех поэтов, в котором он примкнул к начинавшим вместе с Рейном Бобышеву и Найману, и которое, как последний недавно писал в своих комментариях к "Траурным октавам" Бобышева, едва не стало первой со времен обэриутов настоящей поэтической школой. Рейн, кажется, первым из всех них пошел к Ахматовой, и объединение этих четырех поэтов, не менее несхожих, чем в свое время четыре главных акмеиста, может быть отчасти объясняется влиянием её личности, воспринятым по-разному и в разной степени, но всеми четырьмя.

Сказанное, впрочем, не означает, что я свожу все "петербургское поэтическое возрождение" к четырем именам: ведь здесь же, хотя и вдаль от них, стоял над своей алхимической колбой изумительно талантливый Волохонский, а чуть ближе полировал свои дивные рифмы Ерёмин. Может быть к тому же разговор о "мэтре", да еще применительно к тем временам, когда в этом кругу выше всего ценилась шутка, прозвучит с неуместной серьезностью; да и вряд ли с таким утверждением согласились бы два других участника нереализовавшейся школы, хотя еще несколько лет назад Найман свидетельствовал о безошибочном рейновском поэтическом слухе. Впрочем, за пределами группы, с ее независимыми участниками, влияние Рейна ощущалось, может быть, сильнее, чем внутри нее. Объяснялось оно не только структурой его таланта, но и определенными его личными качествами, которые в те времена имели несколько особое значение, среди них — его начитанность, культивированная осведомленность в живописи и вообще в искусстве, профессионализм в суждениях

о стихах, наконец, его доброжелательность и даже само обаяние его личности и его тогдашнего дома. Но как бы то ни было, лично я считаю, что даже если бы мне не выпала честь и удовольствие писать предисловие к представленной здесь подборке превосходных стихов, если бы Рейн не был автором нескольких, увы, неизданных, поэтических сборников, — его место в литературе было бы уже тем не менее выдающимся и почетным.

Тем труднее говорить об этих стихах в оставшихся строках исчерпанного предоставленного объёма предисловия. Я хотел бы прежде всего сказать, что в них своим особым языком Рейн создает свой особый мир, и сквозь этот мир, где, на первый взгляд, такое большое место занимает "еда", "питье" и прочие аксессуары остранинной *joie de vivre* — с поразительной верностью просвечивает страшность и нищета нашей жизни. В этом — правда и беспощадность его стихов, в этом их "второй шаг" и их мудрость. Стихи Рейна всегда "крепко сколочены", а слово весомо. В его поэзии, особенно в ранних стихах, которые я стремился достаточно полно здесь представить, заметно влияние современной живописи и достижений футуризма, оставшихся более или менее чуждыми трем остальным названным поэтам.

Теперь дома на Рубинштейна нет, Рейн и Найман, давно разошедшиеся, живут в Москве, где их точно так же не почитаю как и Бобышева, сохранившего, в отличие от них, верность Петербургу, а вместе с превратившимися в далекую точку Бродским — представление об общественной роли поэта. Их молодые продолжатели проявляют, как видно, полнейшее безразличие к поэзии всех четверых; поэзия же самого Рейна, — и в это он сближается с Найманом, — становится для него делом все более частным, и потому стихи, которые он пишет, становятся всё прекраснее.

Михаил Мейлах

Нет вылета. Зима. Забит аэродром.

Базарный грош цена тому, как мы живем.

Куда мы все летим, зачем берем билет,

Когда необходим один в окошке свет?

Я вышел в зимний лес, прошел одну версту,

И то наперерез летел проклятый "ТУ".

Он сторожил меня овчаркой злых небес,

Я помахал ему перчаткой — он исчет.

И Я пошел назад по смерзшейся лыжне.

Я здорово озяб и захотелось мне

Обратно в теплый дом, где мой в окошке свет.

Как худо мы живем, и оправданья нет.

А.А. Ахматовой

У зимней тьмы печалей полон рот,
Но прежде, чем она его откроет,
Огонь небесный вдруг произойдет —
Метеорит, ракета, астероид.

Огонь летит над грязной белизной,
Зима глядит на казни и на козни,
Как человек глядит в стакан порожний,
Еще недавно полный беленой.

Тут смысла нет, и вымысла тут нет,
И сути нет, хотя конец рассказу.

Когда я вижу освещенный снег,
Я Ваше имя вспоминаю сразу.

И.Б.

Когда садишься в новый самолет,
Когда влезает в рыжий грузовик,
Когда выходишь задом наперед
Ты из дверей облупленных своих,

Ты покидаешь родину, тебе
Какое путешествие грозит,
Но ты про это позабудь теперь,
Пока влезает в рыжий грузовик.

Ты покидаешь родину. Она
Как будто бы ленива и скупа,
Прохладная и вялая страна,
Что смотрит на тебя из-за угла.

Но это все сплошные пустяки,
А вот когда у моря ты сойдешь,
Тогда и точно ты остерегись,
Иначе ты, должно быть, пропадешь.

Тебе так скоро станет все равно,
Забвение устроится в груди -
Там женщины вкуснее, чем вино,
И музыка приятнее любви.

Расположившись между двух сирен,
Бессмертием укрыт до головы,
Ты глянешь через лень свою и спесь
В ту сторону, откуда прибыл ты.

И скажешь ты случайно:— Боже мой!
На Итаку, на Итаку, домой!
И станешь повторять ты — Боже мой!
На Итаку, на Итаку, домой!

О, господи, льдинами, льдинами
плывет и качает вода,
какими предместьями длинными
в апреле сойдут города.

Как просто, как пусто, как маятно,
как звать тебя, счастье мое,
о милая, волосы мятые,
и вся, как чужой самолет.

Веди, если хочешь, хоть рынками,
хоть парками, только веди,
кричи, хоть словами, хоть криками,
хоть спичками ночью свети.

Веди через черные рощины,
рассказывай про учениц,
ты, милая, просто настройщица,
пришла молоточки чинить.

КРАЙ СВЕТА

О, город последний, где бухта
с названием — Рог золотой.

Не жить бы так бурно, как будто
умру я совсем молодой.

О, лодки, моторные лодки,
и рынок, где крабов полно —
пожизненные обновки

и рынок, и крабы, и все остальное.

Ведь сердцу все хлопать и ёкать,
дела не считать ни во что;
а что если снова поехать,
поехать на Дальний Восток!

Военное море, трофейный пароход,
сяду, поеду на Дальний Восток.
Японские волны гуляют в ночи,
По палубам девушки ходят ничьи,
любую иди, уговори,
полюбит еще до японской зари, —
рассвета, которой желтей кожуры.

Или надую аэростат,

Я улетаю на Дальний Восток.

Оделся, застегнулся, поесть сиганул
в гостинице "Челюскин" (Бывший "Сингапур").

Какие там ходят матросы!

Какие стоят крейсера,

какие там таксомоторы!

Какая кругом красота.

Занять бы там столик у моря,
и пить, пока пьется душе,
и долго бы плавать у мола;
я всё это делал уже.

В этой старой квартире, где я жил так давно,
провести три недели было мне суждено.
Средь зеркал её мутных, непонятных картин,
между битых амуров так и жил я один.
Газ отсвечивал дико, чай на кухне кипел,
заводил я пластинку, голос ангельский пел,
изгибался он плавно и стоял и кружил,
а на третьем куплете я пластинку глушил.
И не ждал ничего я, ничего, ничего —
приходил и ложился на диван ночевать.
Но однажды под утро зазвонил телефон,
я дышал как-то смутно и безмолвствовал он.
Я услышал, как провод лениво шипел.
И ту самую песенку голос запел,
и была пополам и жива и мертва
песня с третьим куплетом допетым едва.
" Кто вы, кто вы? — вопил я, — Ответьте скорей,
что сказать вы хотите серенадой своей?"
Но проклятая трубка завертелась в руке,
и услышал слова я на чужом языке.
Может птица и рыба говорили со мной,
может, гад земноводный или призрак лесной,
может, кто-то на станции плоско шутил,
или может быть друг мой так скушно кутил?
Или женщина это позвонила ко мне

сверхестественно номер подбирая во сне?

И сказала, что знала, лгала как могла,
полюбила, забыла и снова нашла.

Ей приснились мутные те зеркала,
И она разглядела, как плохо жила,
или я ей явился, и битый амур,
мой божок, мой бездельник, ее подтолкнул?

И когда я в квартире своей изнемог,
я услышал загадочный этот звонок?

Что он значил? Неважно. Пойму как-нибудь,
может, в третьем куплете запрятана суть.

Как мало надо. Невский пароходик.
Печальный день. Свободная печаль.
Какой-нибудь мотивчик похоронный,
Какой-нибудь разболтанный причал.

Рогатый лист мне гороскопы кажет,
Собака в подворотне так добра.
Сейчас поднимет голову и скажет, —
" Я за тобой, готов ли ты? Пора".

Так мало надо. Этот город шаткий,
Качание от хлеба и вина.
И летний дым, то горестный, то сладкий,
Окоп по пояс — вот моя страна.

Вы, милые военные забавы,
Смешные офицерские ремни,
Смешные петроградские заставы
Все нынче в этот дым погружены.

Всего лишь пароходик. Вот избушка
петровская открылась мне отсель.
Бутылка пива. Атомная пушка.
И пылкая валькирия в постель.

ФОНТАН

Сойду на пристани, взойду по лестнице,
Пройдусь по Пушкинской и Дерибасовской,
Войду во дворик я, где у поленницы
Стоит фонтан с разбитой вазочкой.

Он сонно капает слезою ржавою.

А раньше славился струею пресною.

И я припомню жизнь дешевую

И роскошь южную и воскресную

Рубашку белую и юность целую,

Тебя во дворике под полотенцами,

И ничего я не поделаю

Под полутенями полосатыми.

Так словно в августе и надо малости,

Вина в бутылочке, мяса на вилочке.

А ты дурачишься, стоишь, ломаешься

В своем одесском переулочке.

Когда же вечером выходим в город мы,

Где одиночки горе мыкают,

И где купальщики проходят голые,

И пароходы за море двигают.

Тебе мерещится Европа глухая,

А мне матраца дерюга грубая.

О юность лютая, Одесса людная,

На пляжах галька такая крупная!

Двенадцать лет прошло — не много ли?
Я в этом городе бывал наездами,
Жил на Чичерина, жил на Гоголя,
Бывал тут с женами, бывал с невестами.

Но твой проулочек забылся накрепко.
И вот опять зашел и слушаю:
И нету хохота, и нету окрика,
Фонтанчик капает слезою ржавою.

В О З В Р А Щ Е Н И Е

І. ДЫМ

Возвращаясь их путешествий,
Разбирая густой багаж,
Остается мне утешаться
Тем, что в комнате еролаш.

Тем, что надо стирать рубашки,
Мыть посуду, кормить кота,
С бухгалтериями ругаться.

Взять тетрадь. Написать: "Никогда
Не отпустит нас этот город,
Этот кот, угар, кавардак".

Дым отечества все же горек.
А не сладок. Да будет так!

2. ПОД ЭТОТ ДОЖДИК И СЕВЕРО-ЗАПАД...

Три месяца я вас не видел,
Набережные, дворцы, каналы.
Когда уехал, слезы вытер —
Как не бывало, как не бывало.

Когда вернулся, шел дождь мертвецкий,
И я напялил пальто-палатку,
Прошел я с чемоданом Невский
И повернул к себе на Фонтанку.

И все как было, когда-то было,
Никто укором меня не тычет.
И все, кто были, войдут, как прежде,
И каждый место себе отыщет.

А за стеною пробьет двенадцать,
И затопчут они в прихожей.
А мне как быть, куда деваться?
Здесь пахнет платьем твоим и кожей.

Трещат обои и тени скачут,
И зеркала измену прячут.
Мою измену, твою измену,
Но мы друг другу знаем цену.

Под этот дождик и северо-запад
Не вынуть ножик и не заплакать.
Сдавить бы горло, призвать к ответу!
Не стоит. Я через день уеду.

3. Неизвестному

О, юноша в багровом танке,
Ты лепишь юную войну,
Ты жрешь трофейные остатки
И делишь общую вину.

Верти своей спиной убитой,
Раздетой возле голых дам,
Свой тухлый бант, как бант навитый
Ты важно носишь по рядам.

Война, как балки их согнула,
Как швы нательные свела.
Вот у стены стоит скульптура
Руками сердце шевеля.

Обход закончен, Тут разлука.
Пол пограничный полосат.
Что появляется из лока,
Где маются полураспад?

Чья голова теперь рубима,
Твоей казниться или той?
Она завоет как турбина
И размещается с тобой.

Я этим летом правил, правил,
На белых горевал песках,
все остальное время плавал
и спал, как спится на постах.

Сначала слабый сладкий город,
где давит семечки завод,
где можно жить на помидорах
и украшать черешней рот.

Как на постах. О жесткий, жесткий,
Неустршимый этот сон,
о, этот мол и мел азовский,
полдневных побережий сор.

Когда я в шапочке и плавках
ступал на золотое дно,
во всех открытиях и прятках
мне виделось одно, одно.

Зачем на прелестях всеобщих
куется роковая цепь,
где каждое звено на ощупь
представляет жизни цель.

А воедино, воедино
все это только темный груз -
- а азовский пляж, полет блондинок,
кислятина азовских груш.

Пока у бедного швербота
лежит умытая душа,
пойми, что славная свобода
одна на свете хороша.

Хрустящий изгиб переулка
Заляпан крахмальным снежком,
И снег тот съедобен как булка
И падает тихо, пешком.

У белого тубдиспансера
В газету глядит человек,
Газета торчит из-под снега,
Как будто противен ей снег.

А снег рблипает бумагу,
Со всех налетает сторон.
Читатель упорен и шагу
Не делает в сторону он.

Он словно добрался до сути
Решился под снегом сейчас,
Как будто бы к винной посуде
Приставил чахоточный глаз.

Читает он, или летает,
О, как открывает он рот,
Он все непременно узнает,
Но раньше, конечно, умрет.

3. АДМИРАЛТЕЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Против дома Кваренги
Сел я выпил вина.

Словно на акварельке
Уплывала Нева.

Мост покатый с горбинкой
И Румянцевский сквер.

Перед этой картинкой
Я как раз и присел.

Заказал "Цинандали"
/ Рыба с белым вином /
И устроился в дили
За широким окном.

Понемногу хмелея
/ Я в питье не силен /
Был Невою взлелеян,
Сиди и увеселен.

И тогда я подумал:
"Все оставлено тут.
Не надуешь фартуну
Изменяя маршрут".

По местам и по кольцам,
По торцам и кустам,
Одинаково скользко
В этом месте и там.

Для чего покидаем
Все что с нами слилось?
И согласно киваем
На развал и разнос?

Ничего не прибудет,
Все останется здесь
Расставанье принудит
Сбить врожденную спесь.

И вернуться однажды,
И вина заказать.
Нашу землю отнявши,
Нас нельзя наказать.

Больше. Это безбожным
И последний урон.
И поэтому все же
Быть в разлуке резон!